

На пустыре нет любви

Главным на выставке Максима Кантора оказались вовсе не картины

Вера ГОЛДКОВСКАЯ

Выставка современного и еще достаточно молодого художника в залах Инженерного корпуса Третьяковки – явление не такое уж частое. Может быть, возникнет традиция? Так или иначе, но выставкой европейски известного Максима Кантора, включившей живопись, графику и тексты и названной «Пустырь. Атлас», – начало положено.

Максим Кантор, как всегда, мыслит масштабно и философично. «Пустырь» его давняя тема. Несколько лет назад вышла его книга, включившая прозу и графику и названная «Дом на пустыре».

Пустырь в ней осмыслился как мир вообще – место, где поэтически настроенной личности «жить нельзя». На выставке в Третьяковке акценты сместились. И, признаюсь, я уходила совершенно раздосадованная и разочарованная. Было ощущение, что изобразительное «послание» художника несколько запоздало. Что тот социально-общительный пафос, которым пронизана живопись и графика, обращен к какой-то другой России, а вовсе не к той, где мы живем (и порой живет и сам автор, насельник Германии и Англии). Мы даже по ночам слышим шум строительных агрегатов. Основной запах в Москве – запах свежей краски, которой красят старые особняки. На Чистые пруды недавно завезены аккуратные лотки нового дерна... Мелочи, конечно. Но возникает ощущение пробуждения какой-то деятельной энергии. Больной, кажется, выздоравливает. А на выставке диагноз безапелляционен – больной умер.

С ожесточенной страстностью Максим Кантор изображает на холстах вымороченный, безблагодатный мир российского «пустыря» – пьяные забулдыги, страшные рожи, отталкивающая женская нагота, тоскливый взгляд брошенной собаки, политические демагоги... Яркие, диссонирующие краски «раскрашивают» экспрессивно закрученные композиции, не добав-

ляя ни глубины, ни тепла. Художник варьирует старые темы, повторяет изобретенные ранее оригинальные художественные приемы, но никакого **прироста смысла**, выхода на новые глубины нет как нет. И главное – нет любви. Прежде в работах Кантора под неблагоприятием окружающего мира всегда возносилась пара любящих существ – сына и отца, мужчин и женщин, забывшихся в объятии. Увы, здесь этот мотив отсутствует.

А между тем взгляд автора на Россию вовсе не столь плоскоотно обличителен. Кантор – незаурядный философский эссеист. Хотя по обрывкам его писем, развешанным на выстав-

ке, судить об этом было трудно. Но дома, внимательно прочитав все семь писем к «Любимой» и «Милому другу», воспроизведенных в каталоге, я поняла, что именно письма – **главная авторская удача**. Именно в них раскрылись какие-то неожиданные грани его мысли и таланта. Письма удивляют тем более, что в них автор обрушивается на Запад с не меньшей страстью и энергией, чем на российский «пустырь». В письмах много спорного, мальчишеского, порой манерного, но есть живая и смелая мысль, блеск и оригинальность критических суждений, обнаруживающих противоречие и парадоксы в таких, положим, окружен-

ных елейным благоговением «европейских» понятиях, как «открытое общество» или «права человека». Это своеобразная отповедь «ребенка», которого крысолов дудочкой заманивал в европейский «рай»...

Но и в письмах не хватает любви, что особенно заметно в письмах к российской «любимой». Автор считает, что и Чаадаев, его своеобразный духовный предтеча, обращался в знаменитых письмах не просто к женщине, но к любимой. Где-то я читала, что эта «любимая» пострадала гораздо сильнее, чем гусарский полковник. Однако никаких его сожалений по этому поводу читать не приходилось. Своеобразная любовь!

И тут она своеобразная. Лицо «любимой» двойится, троеится, расплывается. То это интеллектуалка, которой автор всем обязан, то несчастная обиженная женщина, то Россия, а то и вообще... отец, которому в конечном счете письма переадресовываются. Понимаешь, что это такой же условный образ, как и образ «Милого друга» – западного интеллектуала.

Но, пожалуй, лишь в письмах к женщине автор не просто «обличает» миф, а становится полностью искренним и беспощадным к себе: «... Я всю жизнь трусил и врал... Я боялся России, я боялся оказаться бедным, боялся жить на Западе и потерять Запад боялся тоже»... Признания, на которые не каждый отважится, делающие автору честь.

В одном из писем к «Любимой» автор пишет, что не будет больше изображать любовных объятий, что делал многожды. Ага, вот и разгадка отсутствия столь важного прежде мотива на экспозиции! Оказывается, теперь он станет изображать мужчину и женщину, стоящих спина к спине, «как связывали прелюбодедов на кострах». Но не слишком ли это жирно для «расшатавшегося» века?! Отдать ему еще и любовь? И ее окрасить нотой «социального протеста»?

Выставка явила, на мой взгляд, какую-то крайне разбалансированную ситуацию в творческой жизни художника. Но больной не умер. И, надеюсь, выздоровеет.



Русский сфинкс